

В.Ф. Булгаков

## ЗАМОЛЧАННОЕ О ТОЛСТОМ

(Булгаков В.Ф. О Толстом. Тула, 1964. – С. 102 - 127)

### (с. 102)

**К**огда вышла в свет книжка моих воспоминаний о Л. Н. Толстом, а за нею вскоре — книжка таких же воспоминаний Н. Н. Гусева, моего предшественника в качестве секретаря Льва Николаевича, в газете «Речь» появилась рецензия на <sup>ЗАМОЛЧАННОЕ О ТОЛСТОМ!</sup> эти книжки, принадлежавшая перу покойного А. А. Измайлова. Я очень любил Измайлова, как умного критика и талантливого пародиста, и мнение его, в данном случае, было мне небезразлично.

Читатель не должен пугаться, что я начну сейчас излагать здесь полностью это мнение. Нет, я хочу сослаться на одну лишь черточку из отзыва Измайлова о наших с Гусевым воспоминаниях. Оценивая, в общем, весьма благожелательно и ту, и другую книгу, критик высказывал предположение, что записки наши, по-видимому, правдивы, и при том — вдвойне правдивы: и тем, что в них сказано, и *отсутствием преднамеренных умолчаний...*

Помню, когда я прочитал эту фразу (или подобную ей), я тут же устроил себе нечто вроде маленькой исповеди: так ли? оправдал ли я это, авансом выданное мне, доверие критика, а, следовательно, и читателя? подлинно ли: я не лгал не только в словах, но и в умолчаниях?..

В словах-то, конечно, не лгал, а — в умолчаниях?..

Я стал припоминать и припомнил целый ряд эпизодов, фраз, наблюдений, которых я, действительно, не занес в свой «официальный» (хотя и очень далекий от **(с. 103)** всякого официального тона) яснополянский дневник. Что греха таить, я был тогда молод и потому... немножко *слишком* «толстовец». К своему дневнику я старался относиться объективно, почти как к

художественной задаче, но всё-таки кое-где я сознательно отступил от беспристрастия. Образ Льва Николаевича представлялся мне таким прекрасным, таким светлым и в то же время цельным, что я боялся, как бы некоторые, — довольно мелкие, впрочем, — чёрточки не нарушили этого образа в представлении моих читателей.

Разумеется, это была ошибка, — ошибка во всех отношениях.

С тех пор, хотя я и дополнил последующие издания моей книги, ошибка эта оставалась не исправленной: все дополнения, сделанные мною для печати, в том числе и опубликованные отрывки из дневника под названием «Трагедия Льва Толстого», — все это вошло, по крайней мере, в *подлинную рукопись* моего дневника. Но были вещи, *не вошедшие и в рукопись*.

Вот эти-то вещи, всё вольно или невольно «замолчанное» мною до сих пор о Толстом, я и хочу здесь передать.

**Один раз Лев Николаевич рассердился на меня.**

Дело было так.

Я только что переехал в Ясную Поляну из Москвы, где числился студентом университета. Не в буквальном смысле «только что», а прожил, может быть, один или два месяца в Ясной Поляне.

Александра Львовна, также помогавшая Льву Николаевичу, была больна корью, и вся канцелярская работа лежала на мне.

Между тем, я получил из Москвы извещение, что наше Сибирское землячество при университете устраивает большую вечеринку, чуть ли не целый бал. Мне было двадцать три года. Хоть я и был «толстовец», но товарищеские связи еще не потеряли для меня своей силы. К тому же в делах землячества я принимал до сих пор ближайшее участие. Мне захотелось воспользоваться случаем и съездить на денек — другой в Москву, чтобы повидать зараз всю среду студентов-

земляков, тем более, что после близкого знакомства со Львом Николаевичем я должен был показаться среди **(с. 104)** них впервые. Это был легкомысленный довод в пользу моей поездки.

Но был и довод серьезный: пришёл срок взноса платы за право учения в университете. Невнесение платы грозило мне исключением, а исключение связано было с немедленным призывом на военную службу (для меня — с отказом от нее и тюрьмой), а, следовательно, и с необходимостью покинуть Ясную Поляну.

Я поделился своими соображениями с гостившим в Ясной Поляне М. С. Сухотиным (мужем Татьяны Львовны), и он одобрил мои планы.

Льву Николаевичу я еще ничего не говорил.

Вечером, когда все сидели за чайным столом, вдруг приносят телеграмму на имя Льва Николаевича. Он распечатывает и читает. Оказывается, В. Г. Чертков телеграфирует из Крекшина (под Москвой), чтобы Лев Николаевич настоял на моей немедленной поездке в Москву для улажения дел с университетом.

Как раз Чертков, по рекомендации и по инициативе которого я занимал свое место около Льва Николаевича, особенно беспокоился за мою участь в случае какой-нибудь неаккуратности в улажении формальных отношений с университетом: он не хотел мириться с мыслью, что Лев Николаевич снова останется без «помощника» — секретаря.

Прочтя телеграмму, Лев Николаевич спрашивает меня, в чем состоят дела. Я объясняю.

Надо же было Сухотину в этот момент предать меня! С невиннейшим видом он заявляет:

-- У Валентина Федоровича есть еще причина поехать в Москву: ему хочется попасть на бал...

-- Как бал? Какой бал?

Легко можно вообразить моё смущение. Хорош новый помощник: готов бросить работу, чтобы отправиться на бал!

Я что-то лепечу в свое оправдание, но Сухотин, этот

добрейший и милейший человек, безжалостно меня опровергает на основании моего же собственного сообщения, сделанного ему днем.

Лев Николаевич нахмурился.

-- Ну что же, поезжайте,— сказал он. — Мне никого не нужно!.. Вот Саша завтра встанет (Саша никак не могла встать «завтра»!) и опять будет мне помогать. А **(с. 105)** мне никого не нужно... Я и один управлюсь... Мне ни кого не нужно!..

Этот мрачный тон Льва Николаевича, это беспрестанное повторение одних и тех же слов — «мне никого не нужно» — повергли меня в отчаяние.

-- Конечно,— говорил я себе,— я рассуждал немного легкомысленно, но неужели Лев Николаевич не знает, что я на все готов идти, чтобы только не огорчать его и быть ему полезным?

А Сухотин-то, Сухотин!

Разумеется, на другое утро я совсем отказался от поездки в Москву, заявив, что дела вовсе не так спешны и что я имею полную возможность подождать выздоровления Александры Львовны.

Лев Николаевич успокоился, и инцидент был исчерпан.

Те случаи, когда Лев Николаевич сердился, вообще были крайне редкими исключениями.

Но один раз я видел его не только рассерженным, а прямо разгневанным.

Мы ехали с ним верхами по Тульскому шоссе. Лев Николаевич совершал обычную свою прогулку после завтрака.

Отстав на довольно значительное расстояние от Льва Николаевича, я видел, как впереди к нему подъехал неизвестный мужчина, тоже верхом, и передал пакет.

Оказалось, что это нарочный с телеграммой из Тулы. Лев Николаевич разорвал конверт и стал читать телеграмму...

Вдруг вижу, он повертывается ко мне и, размахивая

телеграммой, гневно восклицает:

-- Негодяй какой-то!

Подъезжаю и беру у него из рук телеграмму: некто Григорьев в высокопарных выражениях, угрожая даже, помнится, Льву Николаевичу самоубийством, просит его об оказании немедленной материальной помощи.

Передав мне телеграмму, Лев Николаевич нервно дергает за поводья, поворачивает лошадь и отправляется дальше по дороге, а я разъяряю нарочному, что ему **(с. 106)** придётся доехать до Ясной Поляны, чтобы получить деньги за доставку телеграммы.

Характернее всего то, что потом этот Григорьев (забыл — откуда) прислал Льву Николаевичу еще несколько телеграмм с просьбами о высылке денег или с извещениями, что он скоро приедет. По-видимому, это был либо душевнобольной, либо какой-то мистификатор.

**Как** известно, Лев Николаевич преувеличенно строго относился ко всем явлениям половой жизни. Он был сторонником полного целомудрия мужчины и женщины и в половых отношениях, даже в браке, видел что-то нечистое, унижающее человека. Это было у него не только убеждение, но и чувство.

Где таился корень этого чувства?

Один раз я прочел в только что написанном письме Льва Николаевича, к некоей Петровской, такую фразу:

«Ни в одном грехе я не чувствую себя столь гадким и виновным, как в этом, и потому вероятно, ошибочно пла нет, но считаю этот грех против целомудрия одним из самых губительных для жизни» (27 июля 1910 г.) (Л. Н. Толстой. т. 82, стр. 87—88).

Помню, меня очень поразила эта фраза: в самом деле, подумал я, не тут ли разгадка, что аскетическая по существу тенденция с такой силой овладела автором «Казачков» в старости?

**Я** заметил, что Лев Николаевич имел обыкновение расспрашивать приходивших к нему и обращавшихся

за руководством в той или иной области молодых людей о том, как протекает у них половая жизнь. Этот интимный и деликатный вопрос задавался им обыкновенно в конце беседы, в том случае, если беседа носила душевный и искренний характер. Вопрос, конечно, не мог ставиться грубо: чутьё художника и моралиста подсказывало Льву Николаевичу, когда было можно и когда нельзя сделать такой вопрос собеседнику.

Главный интерес при этом состоял для Льва Николаевича не просто в том, чтобы заглянуть в тайники чужой души, хотя подобное стремление именно с его **(с. 107)** стороны, как величайшего художника и наблюдателя душевной жизни, было бы и вполне понятно, и уместно. С этой точки зрения можно «простить» Льву Николаевичу и то, что, как мне говорили, он иногда... подслушивал чужие разговоры.

*[Об одном таком случае рассказывает учитель детей Толстого А. М. Новиков. Было это в 1890 году. Толстой только что написал «Крейцерову сонату». Он впервые прочёл повесть в Ясной Поляне группе гостей, преимущественно молодежи. «Когда повесть и вновь написанное послесловие были прочитаны, наступило молчание.*

*-Ну, как? — спросил Толстой.*

*Общее молчание, и один за другим гости простились с хозяином и удалились вниз. Все сошлись в библиотеке, затворили двери, и началось обсуждение повести, идея которой подействовала на слушателей совершенно оглушительно. Общий голос был, что повесть слаба, идея слишком выдуманна, претенциозна, развитие рассказа надуманное и т. д. В середине разговора я вышел за дверь — и столкнулся нос с носом с подслушивавшим Толстым». («Л. Н. Толстой». Юбил. сборник, М.—Л., 1928, стр. 239].*

Страсть понять людей у него была чрезвычайная!

Но, в данном случае, дело было даже и не в этом. Льва Николаевича интересовала не психологическая, а, сколько я наблюдал, исключительно моральная сторона вопроса. В каждом отдельном случае его интересовал вопрос: сохраняет ли данный юноша целомудрие или

нет? Говорить Льву Николаевичу неправду было невозможно, и, без сомнения, те ответы, которые он получал, были правдивы.

При этом Лев Николаевич не бранил своего собеседника, не выговаривал ему в том случае, если ответ на вопрос получался отрицательный. Он только делал соответствующую зарубку в своей памяти.

Ответ положительный почти всегда трогал его до слёз, — и ради таких-то, хотя бы и редких, положительных ответов Лев Николаевич имел терпение выслушивать и все, — конечно, гораздо более многочисленные, — ответы отрицательные.

У него существовало трогательное убеждение, что «за последние годы» целомудренных юношей становится всё больше и больше. Он даже льстил себя надеждой, — втайне, а иной раз и проговариваясь, — что тут не обходится и без его влияния, в частности, без влияния высоко ценившейся им самим, как орудие проповеди, «Крейцеровой сонаты». Своими вопросами к **(с. 108)** посещавшим его молодым людям Толстой как бы стремился проверить самого себя: и правильность своего взгляда на необходимость целомудрия, и степень распространенности и влияния этой идеи.

Софья Андреевна уверяла меня, что Лев Николаевич не любил её настоящей любовью. Что он любил её только чувственной любовью. И что, вообще, он не знал настоящей любви, почему её и отрицал.

Всё художественное творчество Толстого, целый ряд живых и трогательных типов его романов, повестей и рассказов протестуют против такого утверждения.

Стремление Толстого-моралиста и теоретика лишить любовь к женщине духовной основы, свести её лишь на животное чувство всегда было мне чуждо.

**Я** с ранней молодости интересовался проблемой гармонического развития духовного и телесного начала в человеке. На университетской скамье меня особенно привлекала теория психофизического монизма в изло-

жении Фехнера. Под влиянием Льва Николаевича я склонился к чистому спиритуализму, но первоначальный интерес к проблеме примирения духа и плоти не пропал, и все, что напоминало мне о ней, снова волновало меня. Я пробовал раз или два заговаривать на интересовавшую меня (уже втайне!) тему со Львом Николаевичем, но или я боялся высказаться вполне и он не понимал, чего, собственно, я хочу, или же он так далеко ушел в направлении чисто духовного понимания жизни и мира, что возбуждаемая мною тема его не интересовала, но только он ни разу не высказался исчерпывающим образом, и ответы его меня не удовлетворяли.

Помню, как однажды на эту же тему Лев Николаевич получил прекрасно написанное, умное и тонкое письмо от некоего Моргенштерна. Я ждал чего-то необыкновенного от ответа Льва Николаевича на это письмо и потом переписал этот ответ, каков он ни есть, в свою записную книжку.

Вот эти строки Толстого:

«Вы говорите, что существо человеческое слагается из духовного и телесного начала. И это совершенно справедливо, но не справедливо то ваше предположение **(с. 109)** ние, что благо предназначено и духовному, и телесному началу. Несправедливо это по одному тому, что телесное начало не только не может получить блага, но по самому свойству своему обречено на то, что для тела не может не быть злом: болезни, страдания, старость, смерть. Так что ваше предположение о том, что оба начала одинаково должны быть удовлетворяемы в своем стремлении к счастью, совершенно произвольно и несправедливо. Благо свойственно только духовному началу и состоит ни в чем ином, как в все большем и большем освобождении от тела, обреченного на зло, которое одно препятствует достижению блага духовного начала».

Один раз в Ясную Поляну приехала на паре великолепных рысаков одна светская дама, соседка помещи-

ца, чтобы сделать визит Софье Андреевне и познакомиться со Львом Николаевичем.

Хотя и Лев Николаевич, и Софья Андреевна всегда были переобременены гостями и посетителями, дама была принята в Ясной Поляне очень любезно и пила со всеми чай. Лев Николаевич, впрочем, немного поговорил с ней, оставив ее затем на попечение Софьи Андреевны.

Как оказалось, дама произвела на него отвратительное впечатление... своей болтливостью.

— Это какой-то блуд слова! Только бы не молчать! — сказал мне Лев Николаевич, придя в канцелярию.

Между тем, я только что говорил с приезжей дамой, и мне показалось, что разговорчивость ее имеет другую причину: гостя не только растерялась, она буквально *трепетала* от сознания, что находится в доме Льва Толстого и говорит с ним. Это было совершенно безотчётное чувство, которое овладевало многими, приближавшимися к Толстому (даже такими людьми, как Л. Андреев, Чехов). И именно вследствие этой растерянности, именно, вследствие стремления скрыть свой трепет, приезжая дама, вовсе не глупая и не пустая, безостановочно несла всякую чепуху, — вероятно, сама не понимая того, что лепечут ее губы: да, только бы не молчать! Но это «только бы» внушено было, кажется, совсем другими мотивами, чем думал Лев Николаевич, **(с. 110)** никогда не понимавший того «страха», который он невольно наводил на людей, видевших его впервые. Вернее, и мотивов-то никаких не было, а Лев Николаевич упрекал даму за «мотивы».

Помню, мне очень жаль было бедную женщину и жаль того, что Лев Николаевич так сурово о ней отзывался.

**Неумение** или неспособность взять верный тон в общении с Львом Николаевичем часто отражались на письмах его корреспондентов. Некоторые из них начинали с того, что в самых вычурных и высокопарных

выражениях воскуривали фимиам Толстому, как великому писателю и человеку, и этим сразу отталкивали его.

Между тем, по-моему, этот, как будто фальшивый с виду, приподнятый тон на самом деле далеко не во всех случаях мог быть истолкован, как неискренний и притворный. Просто, идя к Толстому, люди не знали, с какой ноги ступить.

Я отлично по себе понимал такого рода затруднения. Когда мне в том же году, временно расставаясь со Львом Николаевичем, случалось несколько раз писать ему письма, я терялся: каким обращением их начинать?

«Дорогой Лев Николаевич»? Это казалось мне слишком фамильярно.

«Глубокоуважаемый и дорогой Лев Николаевич»? Это как будто было слишком далеко.

«Дорогой учитель»? Напыщенно.

«Бесконечно дорогой и любимый Лев Николаевич»? Это вполне точно отражало мои действительные чувства, но больше походило на обращение к возлюбленной, чем к великому человеку.

Я охотно остановился бы на том обращении, которое выбрал философ и критик Н. Н. Страхов, неизменно начинавший все свои многочисленные письма ко Льву Николаевичу одними и теми же словами: «Бесценный Лев Николаевич». Но, во-первых, это был бы плагиат, а, во-вторых, понятие «бесценного» предполагало все-таки возможность хотя бы какой-то проблематической попытки «оценивать» Льва Николаевича, и если на это мог решиться старик Страхов, то такая смелость отнюдь не приличествовала мне.

**(с. 111)** В конце концов, я не придумал ничего другого, как начинать свои письма просто именем и отчеством — «Лев Николаевич», без всяких эпитетов. Это было сухо, но я утешал себя тем, что Лев Николаевич, который «все видит и все знает», прочтет все мои действительные чувства, хоронящиеся за отсутствующим эпитетом.

Так было со мной, жившим под одной кровлей со Львом Николаевичем, — какие же колебания должны были испытывать те, кто никогда не видал Льва Николаевича и обращался к нему впервые!..

Я очень хорошо помню случай, когда именно в том тоне, который я характеризовал, написал ко Льву Николаевичу один гимназист старших классов. Что такое был Лев Толстой для этого гимназиста? Предмет изучения, наряду с Овидием, Цезарем, «Евгением Онегиным» Пушкина, Пифагоровой теоремой и биномом Ньютона, — словом, что-то недостижимое и почти отвлечённое. Он и не мог писать иначе, как пересыпая свою речь эпитетами, вроде: «великий», «гений» и пр., и пр. Само же по себе письмо его не заключало в себе ничего плохого.

Но Лев Николаевич был очень возмущен этим посланием. Отвечая гимназисту, он написал ему, что советует ему впредь быть более простым и искренним в отношениях с людьми.

Гимназист страшно перетревожился. Прислал второе письмо, в котором клялся Льву Николаевичу в своей искренности и просил прощения в своих возможных винах.

Лев Николаевич сделал на этом письме пометку «Б. О.», то есть — без ответа. Я, было, вступился за гимназиста и попросил у Льва Николаевича позволения ответить юноше и успокоить его, но Лев Николаевич, всегда мягкий и снисходительный, на этот раз воспротивился моему желанию и довольно сурово произнес:

-- Я ему написал? Он получил мое письмо? Ну, и прекрасно!..

Несколько строк, характеризующих скорее старого друга Льва Николаевича врача Душана Петровича Маковицкого, чем самого Льва Николаевича.

Кто был Маковицкий?

Старший сын Льва Николаевича Сергей Львович, **(с. 112)** выступая свидетелем на Толстовском процессе

1916 года, когда Маковицкий обвинялся, вместе с другими, в составлении воззвания против мировой войны, так показал об отношениях Маковицкого ко Льву Николаевичу:

-- Он был моему отцу другом, врачом, нянькой, иногда секретарём, иногда спутником по прогулкам.

И это была правда.

Так вот, в начале моего пребывания в Ясной Поляне, Душан Петрович (перешедший уже со мною на «ты», хотя я и был много моложе его) подзывает меня однажды к себе и, с довольно таинственным и важным видом, говорит:

-- Знаешь, я должен сделать тебе замечание.

-- Что такое? Пожалуйста, Душан Петрович!

-- Ты — *развязен* со Львом Николаевичем!

Я так и обомлел.

-- Я — *развязен*?! Когда? В чем? Пожалуйста, скажи!..

-- Ты... задаешь вопросы Льву Николаевичу. А этого нельзя делать. Ты обращаешься ко Льву Николаевичу, как к отцу, но ты не можешь обращаться. У Льва Николаевича много детей. Нельзя, чтобы все обращались к нему с вопросами. Ты должен только слушать, что говорит Лев Николаевич, но не спрашивать...

После такого объяснения, в чём именно заключалась моя «развязность», у меня немного отлегло от сердца. К тому же Душан Петрович, как словак, плохо владел русским языком и мог ошибиться, употребив вместо одного слова другое.

Однако я решил всё-таки принять к сведению его замечание и, боясь, как бы и в самом деле не оказаться как-нибудь, хотя бы нечаянно, «развязным», действительно, перестал обращаться ко Льву Николаевичу с какими бы то ни было вопросами и... только слушал, что он говорил.

Как и можно было предполагать, Лев Николаевич заметил во мне эту перемену. Как-то вскоре после разговора с Душаном Петровичем мы ездили со Львом

Николаевичем верхом. Вообще, Лев Николаевич ездил молча в верховых прогулках, размышлял, наслаждался созерцанием природы и отдыхом от работы. Но иногда, напротив, он очень оживленно разговаривал с своим спутником, кто бы это ни был.

**(с. 113)** По-видимому, соблюдая тайное предписание Душана Петровича, я был слишком несловоохотлив и, вследствие этого, выглядел мрачно, потому что, приглашая меня на другой день проехаться верхом, Лев Николаевич вдруг спохватился:

-- Впрочем, я не знаю, хотите ли вы. Вы что-то стали мрачны. Когда вы едете за мной, я думаю, что вы, наверное, что-нибудь думаете обо мне? Думаете, думаете, думаете!..

-- Что вы, что вы, Лев Николаевич! — стал я возражать ему. — Ей-богу, ничего не думаю!.. Честное слово, ничего не думаю!.. Я прекрасно себя чувствую... Я так рад всегда ездить с вами!..

Мне бы надо было прямо рассказать Льву Николаевичу о наставлениях Душана, но в первую минуту я даже забыл о них.

-- Верю, верю! — произнес Лев Николаевич, в ответ на мои горячие убеждения. — Это мне только так показалось...

После этого я стал уже менее педантично исполнять предписание Душана и никогда в этом не раскаялся.

Зато сам Душан Петрович во все пять лет своего пребывания в Ясной Поляне поражал всех своей молчаливостью.

В приятельской беседе наедине это был очень разговорчивый, живой и веселый человек.

*[О странной тенденции Д. П. Маковицкого предупреждать посетителей Льва Николаевича, чтобы они не задавали ему вопросов, рассказывает и поэт из народа Фёдор Поступаев:*

*«Помню, во время моих обращений к Толстому меня кто-то подёргивал сзади за полу. Когда Лев Николаевич предложил идти наверх к чаю, я, отстав от него, спросил Гусева, не он ли меня дёргал и почему.*

-- Так много нельзя говорить со Львом Николаевичем, — не без строгости в голосе пояснил мне Д. П. Маковицкий. — Его надо только слушать!

Я высказал доктору, что тогда Льву Николаевичу будет скучно и неизвестно, понимает ли его мысли слушатель.

-- Он все понимает и без наших объяснений! — возразил Д. П. Маковннский». («Л. Н. Толстой», Юбил. сборник. М.—Л., 1928, стр. 239].

Когда Лев Николаевич возвращался с ежедневной утренней прогулки пешком по окрестностям Ясной Поляны, у подъезда дома его обычно поджидала целая кучка нищих и просителей.

**(с. 114)** Я знаю, что первое чувство, какое появлялось у Льва Николаевича при виде, этой кучки, было: раздражение.

Он боролся с этим чувством.

Многих удивляли резкие отзывы Толстого о современных и особенно о так называемых «декадентских» писателях. И отзывы эти, действительно, бывали резки. Обычно Толстой говорил вообще, заодно, о «Бальмонтах, Брюсовых, Белых», не видя и не желая видеть в творчестве их ничего выдающегося и примечательного. Вообще говоря, он, конечно, обладал тонким литературным вкусом, иначе, не любя стихов вообще, он не умилялся бы до слёз на высоту художественной формы в стихотворениях Пушкина, Тютчева, Фета, которые он до глубокой старости, бывало, декламировал наизусть.

Но, тем не менее, мне казалось, что часто Лев Николаевич отрицал новую литературу огулом, не будучи с ней хорошо знаком.

Один раз он стал говорить, что в наше время в России нет ни одного выдающегося поэта.

Я попробовал возражать.

-- Ну, кто же? кто?

Я назвал,— может быть, не совсем удачно,— Брюсова.

-- Ну что-о вы! — протянул Лев Николаевич.— Ну,

прочтите хоть одно его стихотворение!

К сожалению, я ничего не знал наизусть из Брюсова и сконфуженно замолчал.

В другой раз, когда шел разговор об иностранной литературе, я вступился за Ибсена, которого, как и других знаменитых скандинавских писателей, Лев Николаевич не признавал.

Тут я убедился, что Лев Николаевич тоже либо очень мало читал Ибсена (кое-что он читал, я знаю), либо забыл его, как забывал иногда, в последние годы жизни, даже свои собственные художественные произведения. Он с любопытством прослушал содержание некоторых пьес Ибсена, переданное мною, и даже мои рассуждения о том, что Ибсен в некоторых своих творениях близок Толстому.

Разговор шёл в столовой, за вечерним чаем. Когда я кончил, Лев Николаевич ласково улыбнулся и заметил **(с. 115)** (из скромности я скрыл эти слова в моей книге, но тут уж приведу их, не ради себя, а ради Толстого):

-- И как это он все знает!.. Ну да — естественно: молодой человек, везде ищет... «А ну, в самом деле, как там что-нибудь важное, а я этого и не знаю»!..

Это был один из редких случаев, когда Лев Николаевич признал за «молодым человеком» право на широкую любознательность. Обычно он говорил, что истина уже найдена старыми мудрецами (все знают его синодик: Конфуций, Сократ, Марк Аврелий, Кант, Шопенгауэр и т. д.), а у новейших писателей искать нечего. Замечательно при этом, что, не рекомендуя широкой любознательности другим, Лев Николаевич сам был исключительно любознательным человеком, что, впрочем, уже достаточно общеизвестно.

Вскоре после описанного случая, во время нового литературного разговора, кто-то упомянул имя Кнута Гамсуна. Лев Николаевич заинтересовался, что это за писатель. Никто из присутствующих не мог дать ему более или менее отчетливой характеристики Гамсуна.

-- А вы его не читали? — с заметным любопытством

осведомился у меня Лев Николаевич.

Увы, *тогда* и я Кнута Гамсуна еще не знал. А как бы я расхвалил, если бы знал, например, его «Голод»!..

Не могу удержаться, чтобы, в связи с вопросом об отношении Льва Николаевича к писателям, не вспомнить одной своей встречи с В.Я. Брюсовым в Московском Литературно-художественном кружке, уже после смерти Льва Николаевича. Это была *первая* встреча.

Когда меня представили поэту, отрекомендовав «бывшим...» и т. д., он, точно как будто инстинктивно, вдруг отшатнулся от меня.

-- Лев Николаевич... — пробормотал он.— Ну, что-о же!.. Лев Николаевич заявил в «Что такое искусство», что стихотворение Малларме «A la nue accablante tu...» («Гнетущей наготой, ты...» (франц.) — чепуха! Он приводит его как образец чепухи!..

А я считаю, что это стихотворение — шедевр, подобного которому не было!.. Ну, разве можно так говорить? Чепуха? Чудное стихотворение!.. Ну, что же это! Что же — Лев Николаевич!..

Брюсов смотрел на меня с выражением крайнего отвращения на лице, как будто это я обругал Малларме.

**(с. 116)** Мы так с ним больше ни о чём и не говорили. Я откланялся председателю кружка и отошел в сторону: пожалуй, он еще побил бы меня за прегрешение Льва Николаевича перед Малларме...

**Был** один писатель, к которому Лев Николаевич тоже относился, если можно так выразиться, «пристрастно», но уже не в отрицательную, а в положительную сторону. Это — небыизвестный крестьянин-писатель С. Т. Семенов, произведения которого печатались у «Посредника». Толстой всегда старательно выдвигал Семенова, подкупленный вниманием изобразителя к той среде, которую он сам так любил, т. е. к крестьянству. Особенно восхищал Толстого богатый и яркий народный язык, которым говорят герои Семенова.

Я никогда не разделял исключительного пристрастия

Льва Николаевича к Семенову.

В самом деле, как писатель-художник, Семенов стоит, по-моему, невысоко. Язык? На мой взгляд, язык всех вообще «крестьянских рассказов» Семенова не слит органически с повествованием — с внутренней жизнью и с характерами действующих лиц. Если, например, сравнить его с языком в народных рассказах Толстого, то надо сказать, что, в противоположность языку Семёнова, народный язык Толстого не носит на себе никакой печати искусственности и является в высшей степени живым, внутренне живым, плотью от плоти и костью от кости тех, кто говорит на нем. Подобного свойства у языка семёновских персонажей не чувствуется. Выпуклый и яркий народный язык Семёнова как бы висит в воздухе, без поддерживающей его основы — характеров. Кажется, будто автор добросовестно выбирает (из собственного запаса или из словаря Даля) пословицы и словечки, с тем, чтобы разместить их более или менее удачно по своим произведениям. Оттого рассказы Семёнова — всего лишь этнографическая мозаика, тогда как народные рассказы и повести Толстого — высокохудожественные творения.

**Когда** Лев Николаевич, в мае 1910 г., гостил у Сухотинных, в имении Кочеты, Тульской губ., туда приехал повидаться с ним В. Г. Чертков, въезд которому в свою **(с. 117)** усадьбу Телятинки, близ Ясной Поляны, был запрещен.

Один раз мы сидели в комнате втроем: Лев Николаевич, Чертков и я.

Владимир Григорьевич стал что-то рассказывать из времени своей молодости и, между прочим, передал такой эпизод. В бытность офицером-кавалергардом он посетил Лондон и, принадлежа к самому высшему обществу, однажды принял участие в пирушке «золотой молодёжи», на которой присутствовал также принц Уэльский, впоследствии король Эдуард VII. Кажется, пирушка происходила в русском посольстве. В ней

участвовали и дамы.

Сначала ужинали, причём ужин был сервирован на отдельных маленьких столиках. А потом решили танцевать. Для этого надо было раздвинуть столики, чтобы, посредине зала образовалось пустое пространство.

Кто-то так стремительно и неожиданно отодвинул в сторону столик, за которым сидел принц Уэльский с своей дамой, что те не успели переменить своей, несколько рискованной позы, — и все присутствующие увидели, что... ноги принца и его дамы были переплетены.

Когда Чертков рассказал эту историю, Лев Николаевич покатился со смеху.

-- Таня, Таня!— закричал он дочери, захлебываясь от смеха. — Иди скорей сюда!.. Ты послушай, что только он рассказывает!.. Что он рассказывает!..

В этом смехе было все: и жизнерадостная непосредственность Льва Николаевича, и его любовь к Черткову, и разительное впечатление от «пикантного» анекдота, рассказанного другом, и сохранявшийся еще интерес к жизни высших классов вообще.

Толстой вообще был очень аристократичен. В его манерах, отличавшихся благородной простотой и изяществом, в осанке, обращении и т.д. это отмечали многие. То лучшее, что он мог взять от своих отцов, он взял. Но едва ли все знают, что даже в старости Лев Николаевич был доступен влиянию сословных предрассудков. Так, со слов одного близкого к дому лица, я знаю, что когда у молодых дочерей Льва Николаевича случались «романы» (невинные, конечно) с людьми «не нашего», низшего круга, Лев Николаевич, узнавая об этом, бывал очень огорчен и недоволен. Он и вообще огорчался за «романы», но боязнь мезальянса для дочерей жила в нём сама по себе.

*[27 октября 1907 г. М.С. Сухотин отмечает в своих записках: «Чувство ревности – чувство весьма детально разработанное в семье Толстых. Сам Л.Н. по природе очень ревнив. Прежде это чувство находило себе пищу в его отношениях к жене, а затем*

*он стал ревновать дочерей, преимущественно незамужних. Сейчас одна Саша не замужем, и недоверчивый, опытный, подозрительный старик зорко следит за ней». (Лит. наследство. М., изд. АН СССР, 1961, т. 69, кн. вторая, стр. 200)].*

Лев Николаевич очень чуток был к проявлению и в себе, и в других *тщеславия*, которое он ненавидел. Надо сказать, что, вслед за ним, все «толстовцы» тоже ужасно боялись «соблазна тщеславия». Это не значит, разумеется, что они ему не поддавались. Напротив, выискивая в себе и в других скрупулезные порции тщеславия в малом («оцеживая комара»), они в то же время беспечно и незаметно, грешили тщеславием, — не сказать, чтобы «в великом», — а в *большем* («проглатывали верблюда»). Между прочим, из этих самых соображений — «как бы не поддаться соблазну тщеславия» многие из «толстовцев» усердно избегали всякой общественной деятельности и, вообще, разных предприятий, хотя бы и полезных. Я тогда еще смеялся над этим и говорил, бывало: «Волков бояться — в лес не ходить»...

Один раз меня поразило, что Лев Николаевич подозревал в тщеславии последовательнейшего из своих последователей, слывшего «святым», небезызвестного Сережу Попова. Сережа так хорошо, так праведно жил и поступал (с точки зрения теории Толстого), что учитель даже как бы сомневался: «Да можно ли так жить, обходясь без тщеславия?..»

И с губ его сорвалось как-то, при рассказах о «святости» Сережи Попова:

-- Боюсь, что у него тут... тщеславие!..

В другой раз и я попался, — вероятно, более заслуженно, чем Сережа Попов.

Незадолго до ухода Льва Николаевича из Ясной Поляны я уезжал на несколько дней в Москву, чтобы оформить свой выход из университета. При этом, уже **(с. 119)** подав прошение ректору об исключении меня из числа студентов, я прочел, перед своими товарищами-студентами в одной из аудиторий университета реферат

«Об университетской науке», в котором изложил мотивы своего выхода из университета.

Лев Николаевич узнал о факте прочтения мною реферата еще прежде, чем я вернулся в Ясную Поляну, из телеграммы в «Новом времени». На основании телеграфного сообщения А. Столыпин (брат премьера) посвятил мне на столбцах той же газеты свои очередные «Заметки». Он очень ядовито высмеял студента Булгакова, чем-то еще недовольного, и в стране, переполненной невежеством, выступающего «против науки». «Какого ему ещё рожна надо?»

И телеграмма, и «Заметки» Столыпина, и, по моему возвращении, мои рассказы возбудили у Льва Николаевича большой интерес к моему поступку и к моему реферату.

-- Надо прочесть, надо прочесть, что он такое там написал! — говорил он, ласково улыбаясь.

Подкупленный выражавшимся Львом Николаевичем интересом и этими словами, я имел неосторожность принести реферат и вручить его Льву Николаевичу для прочтения; грешный человек, я приложил еще к реферату копию длинного письма к матери с описанием моего чтения студентам.

На следующее утро Лев Николаевич вернул мне все эти материалы.

-- Все хорошо, все хорошо! — произнес он при этом, но как-то на ходу и не глядя мне в глаза.

Это показалось мне подозрительным, и, действительно, потом я узнал, что в один из этих двух дней Лев Николаевич записал в своем дневнике:

«Приехал милый Булгаков. Прочел реферат, и тщеславие уже ковыряет его».

**Как** известно, иконография Толстого чрезвычайно обширна. По этому поводу мне не раз приходилось слышать упреки по адресу Толстого, который-де любил позировать перед художниками и фотографами.

В конце концов, я не знаю, «любил» это Лев Нико-

лаевич, или «не любил». Но один раз я видел его сожалеющим, что предполагавшийся кинематографический снимок не удался.

Это было при возвращении из Кочетов, имения Татьяны Львовны, в Ясную Поляну. Лев Николаевич, Татьяна Львовна, В. Г. Чертков, Д. П. Маковицкий, я и фотограф Черткова ехали в нескольких экипажах из имения на станцию. Один раз, при крутом спуске, все вышли из экипажей и пошли по косогору пешком вниз. Фотограф-англичанин, в распоряжении которого был и кинематографический аппарат, захотел снять эту сцену. С этой целью все на несколько минут приостановились, а потом тронулись, но.... как раз в этот момент аппарат неожиданно испортился, о чем англичанин с сожалением и объявил снимавшимся.

-- Ах, да почему же? — сорвалось у Льва Николаевича.

И я заметил, что он несколько огорчен и разочарован неудачей съемки.

Думаю, впрочем, что я, по совести, не могу в данном случае упрекнуть Льва Николаевича в тщеславии или в чём-нибудь подобном. Скорее всего, его просто интересовала, как новинка, вся процедура кинематографической съемки.

*[В письме ко мне от 1 ноября 1962 г. сын В.Г. Черткова Вл. Чертков писал:*

*«Иногда Лев Николаевич сам просил отца, чтобы он его снял, как это было во время его приезда из Англии зимой. Л.Н. нарочно на Делире заехал в самый глубокий снег, «охал» и «ахал», когда Делир вылезал из снега, и сказал отцу: «Эту фотографию, когда вернётесь в Англию, покажите Димочке, чтобы он видел, какой у нас снег бывает».*

*А в другой раз, когда отец был в Ясной Поляне летом, Л.Н. вспомнил о зимней фотографии и попросил отца снять его на Делире, заехав в высокую траву, -- чтобы сравнить эту фотографию с зимней». – В.Б.]*

**Когда приезжали в Ясную Поляну сыновья Льва Николаевича (они все жили своими семьями на стороне)**

или почётные гости, то к обеду подавалось вино. При этом и Лев Николаевич иногда наливал себе немного вина и выпивал.

В 1910 г. Льва Николаевича посетил, между прочим, проф. Т. Г. Масарик, впоследствии президент Чехословацкой республики, бывавший у Толстого и раньше и пользовавшийся его симпатией.

**(с. 121)** За обедом на стол подали, вино. Лев Николаевич налил себе и стал пить. Но, вместе с тем, его внимание обратило, что стакан Масарика остается пустой.

На вопрос Льва Николаевича к гостю, почему он не пьёт, Масарик ответил:

-- Я — абсолютный абстинент! (*Т.е. полный трезвенник. — В.Б.*)

Льву Николаевичу стало стыдно своей непоследовательности и он отодвинул стакан с вином.

Через тринадцать лет «толстовец» повторил непоследовательность Толстого, в том же отношении и в присутствии того же третьего лица.

Когда по приезде в Прагу, 7 апреля 1923 г., я был приглашен на ленч к президенту республики Т. Г. Масарику, я не понимаю, почему я, совершенно равнодушный к вину и предпочитающий лучшему его сорту сладкий фруктовый квасок,— почему я пил налитое в мой бокал вино?

Уже совершив этот «грех», я оглянулся на бокал Масарика, сидевшего рядом со мною: этот бокал был пуст и президент пил только воду.

Лев Николаевич, вообще, не был педантом в применении своих взглядов в мелочах обыденной жизни.

Как-то он осведомился у дочери, вегетарианское ли то мыло, которым он умывается, но тут же добавил:

-- Да ты не думай, что я такой педант!

Помню, меня, как вегетарианца, несколько шокировало, когда иной раз за обедом я замечал (или, вернее, старался не замечать), что Лев Николаевич макал кусок

хлеба в соус от сардин и ел...

Лев Николаевич очень любил маленькие технические усовершенствования. Я наблюдал не раз, как он любовался какой-нибудь вещицей, усмехаясь про себя на ее замысловатость. Близкие знали за ним эту слабость и иногда дарили ему разные вещицы. Так, он имел: механическую чинилку для карандашей (от А. Б. Гольденвейзера), вращающийся на подставке столик (от Чертковых), такую же этажерочку (от П. А. Сергеенко), раздвижную трость-стул (от него же), термос, авторучку (от В. Г. Черткова) и пр.

С. А. Стахович подарила ему однажды карандаш, **(с. 122)** снабженный маленькой электрической батареей и лампочкой на конце, чтобы писать ночью. Она знала привычку Льва Николаевича записывать свои мысли даже ночью, просыпаясь от сна. Но карандаш очень быстро испортился и лампочка перестала гореть. Лев Николаевич был огорчен этим обстоятельством, как ребёнок.

Лев Николаевич был бесконечно добр к своим друзьям, последователям, помощникам, секретарям и т. д. И при этом держался со всеми на равной ноге. О многих он говорил: «Мой друг». Сознаюсь, и обо мне так говорил, добавляя еще слово «молодой».

Конечно, он имел право выбирать какие угодно слова для выражения своего чувства к кому бы то ни было. Но беда в том, что многие, кого Толстой называл «друзьями», приняли этот термин, так сказать, в его полном объеме и двустороннем значении и, в свою очередь, стали называть Толстого: «Мой друг». Лет через десять после смерти Льва Николаевича мне приходилось не раз видеть в Москве и в провинции афиши: «Друг Л. Н. Толстого такой-то... (следовала иногда известная фамилия) прочтет лекцию» и т.д. Случалось, что и мне предлагали так афишироваться.

Но я не находил и не нахожу слов, чтобы достаточно протестовать против такого кощунства! Я мог считать

Льва Николаевича своим отцом, наставником, учителем, но... не «камрадом».

Часто указывали, что все так называемые «друзья» Толстого были не очень крупными фигурами, чтобы не сказать больше. Может быть, по сравнению с самим Толстым, это и верно. Но все же не могу не сказать, что многие из близких Льву Николаевичу за последние тридцать лет его жизни людей, как например, В. И. Алексеев, П. И. Бирюков, И. И. Горбунов-Посадов, Ф. А. Страхов, И. М. Трегубов, Д. П. Маковицкий, С. Д. Николаев, М. В. Булыгин, А. С. Буткевич, С. Т. Семенов, Х. Н. Абрикосов и др., были людьми несомненно выдающимися, глубоко идейными, беспредельно Льву Николаевичу преданными, безукоризненно порядочными и плодотворными в разных областях деятельности.

Является, однако, вопрос: откуда же случаи «ослепления» у Льва Николаевича в выборе друзей?

«Ослепления», конечно, никакого не было. Наименование «другом», причисление к «друзьям» просто было, по большей части, выражением бесконечной доброты и снисхождения Льва Николаевича и бесконечной, иногда преувеличенной, благодарности его ко всем окружающим его людям за то, что они ему давали. Он мог простить и простил действительно даже человека, проигравшего в карты казённые деньги и симулировавшего самоубийство.

«Ослепления» же у него не было.

Мне известны интимные отзывы Льва Николаевича о некоторых из его друзей, которые показывают, что, будучи очень добрым и снисходительным человеком, Лев Николаевич вовсе не переставал быть проницательным художником и сердцеведом.

Так, про одного из своих «друзей», много работавшего в «толстовском» издательстве в качестве переводчика или, в лучшем случае, компилятора, однако, не «страдавшего недостатком самоуверенности, Толстой в интимном обществе отзывался:

-- Двух фраз не умеет связать, а воображает, что он

— писатель!

Другого «друга», имевшего претензию считать себя интимно близким Льву Николаевичу и всей семье Толстых, однако, обязанного этой условной близостью скорее данным внешнего, чем внутреннего порядка, Лев Николаевич, опять-таки в интимном кругу, мимоходом назвал:

-- Наш странный друг!

О самом В. Г. Черткове, несомненно наиболее близком к Л. Н. Толстому человеку за последнее время, Лев Николаевич часто высказывался либо в ограничительном, либо в отрицательном смысле. Характерна в этом отношении хотя бы одна запись в дневнике Льва Николаевича за 1910 г.: «Черткова статья о душе и Боге. Боюсь, что слишком ум за разум».

Все это не обозначает изменничества Льва Николаевича по отношению к друзьям, но показывает, что, любя их, он все-таки видел их слабости и недостатки.

Лев Николаевич не любил своих сыновей Андрея и Льва.

Мало сказать: не любил; по всему чувствовалось, что он должен был подавлять к ним в себе своего рода прямое отвращение.

**(с. 124)** Это поражает, но это имело свои причины. Расхождение Льва Николаевича с этими сыновьями,— когда-то, как и другие дети, пользовавшимися его любовью, — было, действительно, очень глубоко. И трудно сказать, чтобы он был в этом виноват. Напротив, сыновья, очень низко павшие, по мнению Льва Николаевича, в своих качествах, ничего не делали, чтобы вернуть себе благорасположение отца и, по видимому, не очень-то и дорожили этим благорасположением. В то же время они зачастую обращались к нему с требованиями, высокомерными советами и т. д.

В 1910 г. эти сыновья требовали у отца, чтобы он им сказал, правда ли, что он составил завещание, в

котором отказывается от прав собственности на литературные произведения, и когда он отказался отвечать, реагировали на это оскорбительными выходками.

Лев Николаевич плакал от огорчения.

**Возвращаюсь к Андрею Львовичу.**

Это был самый беспутный из детей Льва Николаевича, типичный прожигатель жизни. О его похождениях бродили рассказы и легенды по всей Тульской губернии, -- увы, во многом близкие к действительности.

И, однако, как мне говорил Д. П. Маковицкий, Лев Николаевич когда-то очень любил Андрея Львовича.

-- Я его люблю за то, — говаривал Лев Николаевич, — что он — такой, как он есть, и не хочет казаться ничем иным!»

Вопрос отношений с Андреем Львовичем осложнялся, однако, для Льва Николаевича и для многих других еще одним обстоятельством: этот сын Льва Николаевича придерживался крайне правых, «черносотенных» убеждений.

У меня была с Андреем Львовичем одна беседа, в которой я услышал от него ужасную вещь.

Мы говорили об отказах от военной службы по религиозным убеждениям. Я старался доказать Андрею Львовичу, что нельзя так жестоко наказывать отказывающихся, как это делает правительство, потому что они просто *не могут* поступать иначе, даже если бы к хотели.

В ответ я слышал:

-- Всех их нужно вешать!

**(с. 125)** Но не это было самое ужасное.

Когда разговор коснулся влияния Льва Николаевича на распространение отказов и, вообще, его взглядов на жизнь, то я услышал из уст Андрея Львовича буквально следующее:

-- Если бы я не был сыном своего отца, я бы его повесил!

И он добавил еще соответствующий жест рукой.

Разговор происходил в родном доме Андрея Львовича, при жизни его отца.

Вот какая пропасть была между Толстым и некоторыми из членов его семьи.

Это очень важно для понимания драмы Льва Николаевича — семьянина.

**В** своем старшем сыне Сергее Львовиче Лев Николаевич не выносил «либерализма», «дарвинизма» и тому подобных «пороков», хотя, кажется, наполовину Сергей Львович был в них неповинен. Но это было расхождение — чисто принципиальное.

Как человека, Лев Николаевич очень любил Сергея Львовича. С своей стороны, и Сергей Львович дал отцу многократные свидетельства своей самой трогательной любви к нему.

С именем старшего сына Льва Николаевича связывается в моей памяти один эпизод, рассказанный мне Софьей Андреевной и относящийся ко времени первого увлечения Льва Николаевича вновь сложившимся у него мирозерцанием, а именно к концу 80-х или к началу 90-х годов прошлого столетия.

Сергей Львович только что окончил университет (по естественному отделению). Приехавши после сдачи экзаменов в Ясную Поляну, он обратился к отцу с просьбой посоветовать и указать, какой деятельности он должен теперь, по окончании университета, себя посвятить.

Лев Николаевич отказывался советовать, но Сергей Львович настаивал.

-- Как ты скажешь, так я и сделаю! — говорил он.

-- Да мало ли всевозможных родов деятельности! — отвечал Лев Николаевич. — Берись за первое попавшееся дело и делай.

Настроившись против правительственных школ и привилегированной деятельности, Лев Николаевич, по **(с. 126)** видимому, не находил никакого удовольствия советовать сыну, как ему лучше использовать

университетское образование.

-- Ну, всё-таки, за какое же дело мне взяться?— допытывался Сергей Львович.

-- Да вот хоть возьми метлу и отправляйся мести улицу!

Этот ответ так поразил Сергея Львовича, что он заплакал и отошел от Льва Николаевича, давая себе слово никогда больше не обращаться к отцу за советом.

**Ещё** одна деталь. Не хочется, чтобы она ускользнула от беспристрастного исследователя души и жизни Толстого.

Д. П. Маковицкий, спутник Льва Николаевича при уходе из Ясной Поляны, говорил мне, что когда в ночь на 28 октября 1910 г. они со Львом Николаевичем ехали вместе в старой, обтрепанной коляске на станцию Ясенки (Щекино) (7 верст от Ясной Поляны), то, по наблюдению Душана Петровича, Лев Николаевич был раздражён, сердит.

На себя ли он сердился, что так долго не мог осуществить заветной мечты — порвать с Ясной Поляной? На жену ли, отравившую ему последние месяцы жизни в родном углу? Или — на унижительное поведение несчастной женщины в самую ночь ухода, когда она, со свечой в руках, прокралась в его кабинет, чтобы произвести осмотр бумаг в ящиках его письменного стола и найти проект его завещания, а он сквозь щель в двери заметил из своей спальни этот свет и слышал шелест перебираемых бумаг? Кто знает!..

Поводов сердиться, во всяком случае, было много. Конечно, «соблазн гнева» тяжёл, но, когда я думаю о том, как это, в самом деле, великодушный и благородный Лев Николаевич мог вообще сердиться, мне вспоминаются сказанные как раз по этому, поводу (в 1911 г.) слова одного близкого семье Толстых человека:

-- Как же было Льву Николаевичу не сердиться, когда вокруг него всё было такое дурачье! Небось, я уверен, что он никогда не сердился несправедливо. А если он

учил, что надо воздерживаться от гнева, то это для того, чтобы и дураки не подумали, что они имеют **(с. 127)** право сердиться. Конечно, если б они вздумали, это, в мире жить было бы невозможно: все перегрызли бы друг друга! И так грызут... Но сердиться — привилегия великих людей. Потому, что глупость глупых они видят насквозь...

**В** неопубликованном дневнике Льва Николаевича за 1901 год есть одна характерная заметка:

«Я в первый раз понял ту силу, которую приобретают типы от смело накладываемых теней. Сделаю это на «Хаджи-Мурате».

Мы все знаем, что за превосходное творение «Хаджи-Мурат».

Лев Толстой был не менее поразительным, прекрасным творением!

*1925 г. (Примечания — 1963 г.)*

